К С(4УВ)
А34
К-32718

ТАЙТУ

О ПАСТЕРНАКЕ

ПРОВЕРЕНО
2010
03 АПР 2015

А Й Г И

“Все - здесь...”

К С(Ищ6)
А 37

Геннадий Айги

“Все - здесь...”

Встречи с Борисом Пастернаком
1956-1958

Девять стихотворений

1957 - 1965

РФ
Дар
Айги Г.
31.03.00

Херсон, “Пилотные школы”, 1997

К 84.09(=Чав)6-4-5
ДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗ.
Рк-32718
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Чувашской Республики

О ПЕРВОЙ КНИГЕ Г.АЙГИ В УКРАИНЕ

Воспоминания Геннадия Айги о Борисе Пастернаке относятся к наиболее значительным произведениям о великом поэте XX века в этом жанре. Написанные в июне 1990 года в честь 100-летия Б.Пастернака, они впервые были опубликованы только три года спустя.

Сначала воспоминания Г.Айги вышли отдельным изданием в немецком переводе: Gennadij Ajgi. Boris Pasternak. Erinnerungen aus Anlaβ seines 100. Geburtstages (übertragen von Urlich Werner). Sieben Gedichte (übertragen von Karl Dedecius). Rainer Verlag, Berlin, 1993, а затем - в декабрьской книжке "Дружбы народов" за 1993 год - появились и на русском языке под названием "Обыденность чуда". Редакцию текста осуществил член редколлегии журнала В.Залещук, также и озаглавивший его. (По стечению возникших тогда в разваливавшемся СССР обстоятельств, этот номер "Дружбы народов" практически не попал за пределы России и, таким образом, отсутствует в подавляющем большинстве библиотек стран СНГ).

Эта книга - первое отдельное издание воспоминаний Г.Айги о Б.Пастернаке на русском языке. При подготовке ее к печати

нами была сделана новая редакция текста, а также, по предложению автора, включен цикл его стихотворений, посвященный Б.Пастернаку. Он полнее, чем аналогичный цикл в упомянутом издани "Rainer Verlag": в него дополнительно включены стихотворение памяти чувашского поэта Васьлея Митты и стихотворение "Художник", впервые опубликованное в книге Г.Айги "Страна-Пролог" (Париж, издание Николая Дронникова, 1995; в настоящем издании оно публикуется в окончательной авторской редакциии). Кроме последнего, все стихотворения цикла впервые были опубликованы в книге Г.Айги "Отмеченная зима" (Париж, "Синтаксис", 1982).

...Борис Пастернак говорил о Г.Айги: "Он - отмеченный". Позднее, Роман Якобсон в своем "Письме о Малевиче" назвал Г.Айги "экстраординарным поэтом русского авангарда" (подобного он не говорил ни об одном из советских поэтов послевоенного времени). Оценки крупнейшего писателя и крупнейшего филолога XX века подтвердились: Геннадий Айги - самый значительный поэт современной России, проложивший пути в литературу XXI века. А ключи к разгадке *феномена Айги* содержатся и в его воспоминаниях о Б.Пастернаке с концептуальным для него названием: "Все - здесь...".

“ВСЕ - ЗДЕСЬ...”

Встречи с Борисом Пастернаком

1956 - 1958

I

Я пишу о Поэте, который был *аполлонически* прекрасен в свои семьдесят лет, и о двадцатидвухлетнем восторженном юноше... - этим юношей был я, "и провести границы меж нами не могу": ни между собою бывшим, ни *божественностью* того Поэта, которого юноша обожал.

Здесь смешиваются мои возрасты, с этим ничего не могу поделать, и пусть наивное выглядит наивным, противореча некой поздней отрешенности от прежней моей пылкости.

Тогда я был студентом Московского Литературного института. Общежития института находились в Переделкине, я жил в одной комнате с моим другом Римом Ахмедовым, русско-башкирским писателем.

Р.Ахмедов вспоминает (уфимская газета "Ленинец" от 10 февраля 1990 года): "В отношении к поэзии Пастернака с Айги произошла та же метаморфоза, что и со мной. Сперва - в 1953-1954 годах - он яростно сопротивлялся,

когда я пытался вдолбить в его голову кажущиеся мне уже элементарными прописные истины. Яростно нападал на меня, иронизировал. Некоторое время спустя начал задумываться и нехотя признаваться: да, тут что-то есть. Потом, пройдя определенную стадию незримого перелома в сознании, вдруг сделал для себя открытие и воскликнул: "Да ведь это же гениально!" И жить стихами Пастернака сделалось для него такой же ежедневной потребностью, как для верующего совершать обряд молитвы".

И вот, майской ночью 1956 года я возвращаюсь в общежитие - от первой встречи с *моим божеством*. Несколько часов, проведенных с Б. Л. на веранде его дачи, кажутся каким-то огромным кружащимся сплавом шекспировских "Бури" и "Сна в летнюю ночь".

В нашей с Римом комнатке я появился за полночь. Мой друг, ждавший меня с нетерпением, восклицает:

- Ты что, плакал по дороге? Ты же весь мокрый!

- Не знаю, насколько я мокр от слез, - отвечаю, - и насколько - от его поцелуев... Он так много меня целовал...

Так я вхожу в огромный мир не только Пастернака-поэта, но и Старшего друга, Учителя и уникального Собеседника.

II

Он был весь во власти законченного недавнего романа. Его как будто окружала стихия некой бесконечно ширящейся Свободы, в которой вздымалась, переключалась из одного уровня в другой и реяла - всеохватно и неудержимо - непрекращающаяся вдохновенность. И вообще тема *свободы,* в связи с романом, доминировала в наших разговорах. Б. Л. ее часто варьировал. Высказывался и с решительной прямотой:

- Сейчас начинается небывалая духовная свобода, она охватит не только Россию, но качественно должна видоизмениться и во всей Европе.

К этому я относился сдержанно. По-

зднее, уже после смерти Б. Л., я думал, что он поддался иллюзионизму, придавая воображаемому будущему подъем и силу собственной свободы. Я определял культуру нашего времени как *постосвенцимскую,* видел в ней, вопреки хронологии, Мандельштама и "обериутов"; Пастернак, в моем ощущении, в эту культуру не вписывался, - отнюдь не по причине некоего "анахронизма", а в силу, как я думал, его "примирительно-гармоничной" натуры.

И только в октябре-ноябре прошлого года, когда я находился в Италии и Шотландии и вместе со всеми окружающими изумлялся неслыханным переменам, происходившим в Восточной Европе, я стал вспоминать и иначе оценивать слова Б. Л. о "начинающейся неслыханной свободе", - я убежден, что именно *эта свобода, такая свобода* виделась в середине пятидесятых годов Борису Пастернаку.

На "мелко-актуальное" понимание романа - некоторыми из его окружения - он при мне жаловался, возможно, это

ощущалось лишь в настойчивом повторении им того, что "очень верно поняли роман в Европе, широко поняли".

Однажды он спросил:

- Вы все читаете, все интересуетесь, знаете ли вы Камю?

Я ответил, что о нем слышал, но ничего из его произведений не читал.

- Я тоже не читал, - продолжил Б. Л., - но чувствую в нем очень близкого мне человека, *духовного брата.* Мне кажется, что сущность романа он понял больше, чем кто-либо. Я получаю от него изумительные письма. Он назвал мой роман "Страстями человека XX века" - после этих слов мне уже не нужно никаких других определений.

Восторженно рассказывал Б. Л. о письме монаха (кажется, доминиканца), который обратился к нему, завершив многолетний обет молчания:

- Представьте себе: монах-молчальник и - я. Он называет меня "братом по духу" - так, как я отношусь к Камю. Оказывается, даже ему может помогать мой роман. И какая *современность* в

его письме - слога, мыслей! - такая здесь и не снилась.

Возникали разговоры и о *поэтике прозы.* Однажды Б. Л. заговорил о Достоевском:

- Что такое искусство изображения в прозе? Вот, Бальзак пятнадцать - двадцать страниц описывает улицу, город, дом, потом переходит к своим героям, а улицу и город мы уже забыли и не видим. А какое изобразительное искусство у Достоевского! Он никогда не описывает специально город, площадь, улицы, его герой по всему этому передвигается, страдает, действует, а мы видим, в каком осязаемом окружении все это происходит.

- Что такое проза? - говорил он в другой раз. - Это то, где должно быть *одновременно все,* как, знаете ли, у Брейгеля.

В разговорах о романе и вообще во всех наших беседах постоянно возникала тема присутствия чуда в ежедневности, обыденности - "во всем" (на этом я подробнее остановлюсь ниже). Бори-

су Леонидовичу я как-то вскользь сказал, что именно сюжетные и иные "нестыковки" романа создают в нем "атмосферу магического", он выслушал это с молчаливым согласием.

При второй нашей встрече он несколько стесненно (медленно, с паузами) задал мне вопрос:

- А скажите... вы, как человек... ну, народный... простите, что так говорю!.. Скажите, не кажется ли вам мой роман *не нашим*?

Я был ошеломлен, - мне как будто раскрылась вся глубина страданий моего невероятного собеседника.

- Что вы, Борис Леонидович! Наш, *еще какой наш!* - в горячем моем ответе я, пожалуй, совсем захлебнулся. Б. Л. кинулся обнимать меня.

Я не знал, что многие досаждают Б. Л. дотошными расшифровками деталей романа. Один раз это произошло и со мной.

- Борис Леонидович, а вы ведь любите Антипова.

Б. Л. посмотрел на меня несколько

недоуменно.

- Вернее, он вам *нравится,* - поправился я. - Вы им как будто любуетесь. Как Маяковским. И вообще, в нем как будто есть что-то от нравственной красоты и прямоты Маяковского. И еще эта фамилия: Анти-пов...

- Мне это и в голову не приходило, - ответил Б. Л. - А насчет "красоты и прямоты"... Да - я любовался *такой красотой* и Маяковского, и Мейерхольда, при противоположности наших убеждений. Я любил их, восхищался ими...

Много было счастья, связанного и с романом, и с разговорами о нем с самим автором. Тяжелые времена (в моем восприятии) наступили резко - одним мрачным огромным обвалом. Ранней весной 1958 года Б. Л. ждал меня, по обыкновению, на веранде. Он не поднялся мне навстречу. Сидел, обхватив руками склоненную голову с прекрасной серебряной сединой. Услышав мое приветствие, опустил руки, лицо его было - как обугленное.

- Борис Леонидович, опять что-то

случилось? - воскликнул я.

- *Снова тучи над головой накопилися!* Меня обвиняют в том, что я не принял русскую революцию, что клевещу на нее.

Все в этом восклицании ударило меня разом, поразило и такое углубленно-сосредоточенное, чуть ли не по-детски естественное перефразирование Пушкина.

Растерявшись, я сказал весьма наивно "по форме" (а по существу, думаю до сих пор так же):

- Революция - это же как явление природы. Ведь, когда солнце восходит, не может быть вопроса, принимать его или не принимать.

- Вот именно! - Б. Л. стал захлебываться в мучительных восклицаниях. Успокоившись, сказал медленно и отчетливо:

- Дело не в том, что я не принимал русскую революцию, я ее принял так же, как Маяковский. Я просто считал и считаю, что *она не была завершена*.

Уже в наше время я с удивлением

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Рк-32718

воспринял высказывание нынешнего лидера СССР насчет *второй революции,* - ведь это, *по существу, и в том же смысле,* было высказано Борисом Пастернаком ровно тридцать лет назад (а еще раньше - самой исторической сутью "Доктора Живаго").

III

Я приехал в Москву из Чувашии осенью 1953 года. В моей "чувашской глуши" очень плохо было с книгами. Я настолько все перечитал, что - еще подростком - стал обходить соседние деревни в поисках подобных мне "книгоглотателей". Увы, и у них ничего нового я уже не находил.

В столицу я приехал, зная из русских поэтов XX века только Маяковского. Я обожал его, долго писал "под него", исковеркав на многие годы свою манеру письма, собственный лиризм.

Б. Л. прекрасно чувствовал это "присутствие Маяковского" во мне. И, пожалуй, не было ни одной встречи, что-

бы мы не говорили об авторе "Облака в штанах".

"А вот Маяковский, а вот я", - часто вспыхивало в буре его разговоров. Были целые "маяковистские" монологи:

- Надо было *видеть* его, видеть - во плоти! Это было *физическое* воплощение гениальности во образе человеческом! - далее следовал такой каскад взрывчатых определений, которые я уже не в состоянии восстановить.

Однажды я коснулся высказываний Б. Л. о том периоде Маяковского, который он "не понимает" и "не принимает".

- Если бы не было "ангажированного периода" у Маяковского, - сказал я, - если бы он прямо двинулся по линии своих ранних трагических поэм, следующей же "поэмой-шагом" был бы - выстрел.

- Я и считаю "Во весь голос" *отложенным выстрелом,* - ответил Б. Л.

Я считал и продолжаю считать, что в эпохе было два равнодействующих поэтических полюса - Маяковский и Пастернак. Считаю, что постоянно дей-

ствующий *полюс Маяковского* Б. Л. испытывал и учитывал всю жизнь, спор с Маяковским, *антиподное* утверждение Пастернаком его мировоззрения, на мой взгляд, присутствовало и в окончательном становлении замысла "Доктора Живаго".

Разговоры Б. Л. со мной настолько - с первых же встреч - принимали общетворческий и общеэкзистенциальный характер, разворачиваясь в некую форму "вдохновенных поэм" - своеобразные поэмы-монологи, что имена других поэтов упоминались мимоходом, иногда - почти случайно.

- Хлебников был гениальный поэт, но он не писал для людей, - вдруг обронил однажды Б. Л.

Я легко мог возразить ему. Я этого не сделал, мне было понятно, что имелось в виду под выражением "писать для людей" (не "прожектировать" ни в чем, а суметь сказать *насущнейшее,* как хлеб, слово для *людей-братьев*). Вообще, высказывать "заведомо непозволительные вещи" разрешают себе очень

крупные люди. Я люблю старого Толстого с его "непозволительностями", уверен, что он был внутренним тайным примером для Б. Л., - думаю, что известная "ересь неслыханной простоты" с годами все более сближалась с "еретической ересью" Толстого.

В наших встречах с Б. Л., как воздух, как свет, присутствовал Рильке. Тем более, что ко времени нашего знакомства я уже знал "Заметки Мальте Лауридса Бригге" в русском двухтомном издании 1913 года (поразительно, это издание мало кто знал тогда и в московских просвещенных кругах... оно не встречалось даже в лучших частных библиотеках).

Упоминания других поэтов, как я уже сказал, были незначительными. Б. Л. кивнул в знак согласия с моим отзывом о "каркасности" поэзий Асеева и Тихонова ("Да-да, конечно, вы правильно это сказали - "каркасность", но если я о них ничего не скажу, они ведь обидятся!" - речь шла об автобиографии "Люди и положения").

Вскользь упомянул однажды Б. Л. об "эффектности" раннего Заболоцкого ("бывшего очень талантливым") при явной неосведомленности о его поздней судьбе: "А ведь мог стать большим поэтом".

К огромной переписке, возникшей после публикации "Живаго", Б. Л. относился как к *творчеству*, хотя и "отнимающему много времени".

- На днях обратились ко мне из Музея Рабиндраната Тагора. Конечно, вы знаете, как увлекались им в России перед революцией, в этом я чувствовал какую-то духовную муть, Тагор меня никогда не привлекал. Все же я нашел кое-что, что мог бы о нем сказать, и ответил музею.

В 1957 году я переводил на чувашский язык "Василия Теркина" А.Твардовского. Б. Л. спросил, как продвигается моя работа. Я тяготился этим вынужденным переводом для заработка и ответил, как бы отмахнувшись.

- Зря вы так, - заметил Б. Л. - Это вообще - лучшее произведение о прош-

лой войне. К тому же, там - прекрасный русский язык.

Потом добавил:

- Думаете, я Шекспира и Гете переводил потому, что я их люблю? Я их и так люблю. Я переводил тоже вынужденно, чтобы выжить, *продержаться*.

Осенью 1956 года я "свел" с Пастернаком Назыма Хикмета, считавшего русского поэта "величайшим поэтом современности".

- Я, конечно, хотел бы его видеть, тем более, что и живет он совсем рядом. Но его, очевидно, изводят постоянным паломничеством, - говорил Хикмет.

- Назым, это не так, - возразил я. - Поверьте, он очень одинок. Просто - подойдите к нему, "без всякого".

Назым отнекивался:

- Не знаю, не знаю. Он скажет: вот, мол, пришел "борец за мир".

Прошло несколько дней. Утром в коридоре Литературного института бросилась навстречу мне Ирина Емельянова (дочь О.В.Ивинской):

- Гена, вчера к классику приходил

Назым Хикмет, сидели на веранде и до утра обнимались!

(Мы с Ириной между собой называли Б. Л. классиком).

В октябре 1958 года я встретил Назыма случайно в вестибюле гостиницы "Москва".

- Да, позор, позор, какой это позор! - удрученно твердил Назым, когда я заговорил о "нобелевском скандале".

Осенью 1956 года в Литературном институте прошел слух, что Б. Л. согласился встретиться со студентами этого заведения (такие встречи "со старшими собратьями по перу" проводились там регулярно).

Слух подтвердился.

- Как вы к этому относитесь? - спросил меня Б. Л.

Я выразил сомнение: студенты "в общей своей массе" его, пожалуй, не поймут. Так что стоит ли... Хотя я лично рад был бы там его видеть.

- И все же я решил согласиться на эту встречу. Только по одной причине: *я хочу поговорить о Павле Васильеве,*

какой это был мощный талант, я никогда не переставал удивляться его поэтической силе.

Времена менялись быстро. В Литинституте произошел очередной идеологический крен, встреча Б. Л. со студентами не состоялась.

Недавно я прочел о том, что Пастернак возмущал Анну Ахматову "глубоким равнодушием ко всем поэтам-современникам".

Я совсем не собираюсь опровергать это известное мнение, это - "суд" не моего поколения.

В атмосфере моих встреч с Б. Л., скажу повторно, я как будто чувствовал веянье некоей "свободы духа". Этот дух постоянно был занят чем-то *крупнейшим* и важнейшим, для него непреходяще образцовым ("Кстати, Гете", - слышу я голос Б. Л. "А насчет Пруста..." - слышу, но не могу точно вспомнить сказанного).

Я не расспрашивал Б. Л. о крупных поэтах - его современниках, я просто отдавался во власть его Свободы - это

было важнее "литературных проблем". А эта Свобода сама находила, где ему разворачиваться в шири ее полета, в ее великолепии.

Б. Л. делится впечатлением от игры Вана Клиберна (к триумфу которого я отнесся скептически):

- Гений приходит и отменяет все бывшие до него законы, устанавливая законы собственные.

Смею сказать, что и я - если выделить этот "личностный фактор" - интересовал его не как представитель такого-то поколения, а встретившаяся ему, заинтересовавшая его личность (которой он придавал извечно широкое значение, - думаю, в таком контексте любой открывшийся ему человек был целым миром, в котором реяла та же упомянутая пастернаковская Свобода).

Чуть раньше встречи с Борисом Пастернаком произошло еще одно большое событие, которое доныне продолжает определять мои духовные ориентиры.

В 1955 году вернулся на родину крупнейший чувашский поэт Васьлей Мит-

та. Арестованный в 1937 году в возрасте 29 лет, он провел в сталинских тюрьмах и лагерях 17 лет. Я знал о нем с детства - он дружил с моим отцом, сельским учителем, писавшим стихи, бывшим одним из первых переводчиков Пушкина на чувашский язык. Митта в состоянии свободной творческой работы (при полной силе и зрелости) пробыл, в сущности, *всего два года* - летом 1957 года он скончался в родном селе, во время большого народного праздника "Агадуй". Праздник был приостановлен, поэта хоронили тысячи людей.

Несмотря на понятную малопродуктивность, Васьлей Митта оставил десятки стихотворений, ставших самыми драгоценными шедеврами чувашской литературы. В любом самопроявлении Митты - в поэтическом слове, в письме, в беседе, в поступках -всегда было нечто "сократическое" - скромное, малословное (и *поэтическое* по красоте) напоминание об очень древних и самых драгоценных моментах чувашской этики и чувашской эстетики.

Недавно я прочел посмертно опубликованные записки русского священника Сергия Желудкова об Андрее Сахарове. "Я замечал в Сахарове черты *"личной святости"*, - записал священник, с которым я был знаком.

Смею сказать, что такие "черты личной святости" наблюдались и в чувашском поэте (да и на родине относятся к нему как к *святому* своей нации).

Очарованный "братом Васьлеем" (как мы его называли в Чувашии), я взахлеб рассказывал про него Пастернаку. Б. Л. подробно расспрашивал о чувашском поэте, потом, оговариваясь насчет своей "незаслуженности говорить кому-то что-то особенное", просил передать Васьлею Митте слова восхищения "перед мужеством всех мучеников" сталинского лагерного ада, слова поддержки и надежды.

"Брат Васьлей", выслушав это устное "послание" Пастернака, тихо и неторопливо сказал:

- Передай, пожалуйста, Борису Леонидовичу, что мы, имеющие отношение

к словесности, встречаясь в тюрьмах и лагерях, всегда говорили между собой, что *есть на воле Пастернак, верный Совести и Правде, и, следовательно, жива правда в Слове*. То, что *он есть*, нам помогало сохранять веру в жизнь.

Тогда я часто ездил из Москвы в Чебоксары. Между двумя великими поэтами, при моем посредничестве, завязался "разговор на расстоянии".

О смерти Васьлея Митты я узнал в Иркутске по крохотному некрологу в "Литературной газете". Вскоре я вернулся в Москву и почти сразу же поехал в Переделкино. Б. Л., ожидавший меня к точно назначенному часу, шел навстречу. Первыми его словами были:

- Как это могло случиться? Как же так? Я постоянно твержу себе: как это невероятно - *не сделали с ним чего-нибудь*? Ведь ему не было и пятидесяти!

И вот сейчас, в мае этого года, один из моих друзей прислал мне копию письма Васьлея Митты, находящегося

в архиве Чувашского КГБ. Письмо, отправленное Миттой одному чувашскому литератору из Дома творчества в Малеевке под Москвой, датировано 30 января 1935 года.

В нем с изумлением я встретил следующие строки: "Вчерашний день был для меня очень важным и знаменательным. К нам, сюда, приезжал Пастернак. Поразительный человек. Пастернак, как и его поэзия, - весьма труден для понимания, для разгадки его личности. В то же время, от него исходит огромная, неудержимая мощь, присутствие какого-то духа, чувствуется особо бурный, труднопреодолимый *настрой*. Какая сила, какая огромная душевная щедрость! - словами этого не передать, можно только *прочувствовать*". Удивительно, говоря со мной неоднократно о Б. Л., Васьей Митта так и не упомянул о знаменательном для него дне 29 января 1935 года.

В последнюю нашу встречу, весной 1959 года, Б. Л. спросил, знаю ли я стихи Андрея Вознесенского. Я ответил, что

читал только одно его стихотворение, "Гойю", и "очень даже приметил".

- Да, талантлив, очень. Мне бы хотелось, чтобы вы дружили. Я верю, что вы подружитесь, - сказал Б. Л.

Проведя три десятилетия вне официальной "литературной жизни", я познакомился с Андреем Вознесенским только в декабре 1988 года в Гренобле. Слова Б. Л., естественно, мы помним теперь с Вознесенским как общий для нас "завещательный момент" наследия Пастернака.

Я особо хотел бы отметить, что Б. Л. удивительно чувствовал, с каким духовно-интеллектуальным "содержанием" находится перед ним его собеседник.

В течение трехлетних встреч (иногда - раз в неделю, иногда - раза два в месяц) мне всегда хотелось заговорить с Б. Л. о Ницше (в те годы я весь был пропитан *эстетикой* Ницше, считал его, *в этом* отношении, своим "духовным отцом"). Но я инстинктивно чувствовал, что этого не надо делать, - мне казалось, что разговор о немецком

философе может вызвать размолвку между нами.

И вот в последнюю нашу встречу Б. Л. сам заговорил о Ницше. Разговор был взаимно-восторженным и бурным.

- В моей юности все были ницшеанцами - и Маяковский, и Горький (не буду уж говорить, *до чего* доводили это увлечение Леонид Андреев и другие!). Я не входил в их число - они увлекались аморализмом Ницше. Для меня Ницше в первую очередь - *эстет, артист*. Если бы на земле появились какие-нибудь инопланетяне и попросили бы назвать одного из нас, кто полностью воплощает в себе *художника, артиста*, я бы сказал: Ницше, только Ницше!

Темнело, мы сидели на веранде, почти касаясь друг друга коленями. В возбуждении, Б. Л. стал ударять ладонями по моим коленям, я... я стал делать то же самое.

От Б. Л. я поехал к Ольге Всеволодовне.

- Каким вы его нашли сегодня? - спросила она, просившая в тот трудный

год, чтобы я, после встреч с Б. Л., заезжал к ней - "чтобы я знала, как он там...".

- Сегодня мы колотили друг друга, - неуклюже пошутил я. - Из-за Ницше.

Я пересказал наш разговор Ольге Всеволодовне.

- Не может быть! - воскликнула Ольга Всеволодовна. Ведь он всегда его ругает. Только неделю назад отрицательно отозвался о Ницше, когда писал о Кьеркегоре.

IV

Он не очень-то позволял мне говорить о его поэзии. Отмахивался от упоминаний стихов из "Когда разгуляется":

- Многое там написано наспех, фрагментарно, к тому же, у меня выхватывают первоначальные варианты, и они гуляют по рукам, пока я добиваюсь цельности этих вещей.

Однажды мы чуть не поссорились. Отправившись к Б. Л., я долго шел под необычайно лохматыми кронами лип, и

во мне загудела пастернаковская "Вторая Баллада": "Лопатами, как в листопад..."

Я пришел к Б. Л. с этим ритмом и сразу же загудел что-то насчет "Баллады".

- Разве вы не знаете, что я слышать не хочу о ранних стихах? - просто-таки *заорал* Б. Л.

И началось, в той же тональности, с гневом: о том, что все это было "избыточно манерно, вычурно, неестественно" и т.п., и т.п.

Тут уж стал *кричать* я (полагаю, чувствуя инстинктивно, что нет другого выхода из этой ситуации):

- Да, я наслышался, Борис Леонидович, как вы *корежите* свои ранние стихи! Вы зря это делаете. Это давно уже *классика,* не принадлежащая и вам самому. Тысячи ваших читателей помнят наизусть ваши те или иные стихи, они не примут ваши современные варианты. Вы же не сможете отобрать у меня ваше творение, которое живет во мне независимо от вас. И притом, -

продолжал я более мирно, - послушайте, почему я заговорил на возмутившую вас тему.

И рассказал коротко, как я шел под "кипящими лохмотьями" лип и как почувствовал себя "на учете" всем существующим миром, Вселенной - "всем-всем"!

- Как? Вы это почувствовали? *Вы это поняли*? - "орание" Б. Л. приняло другую тональность. - А ведь действительно, как это было прекрасно! Вы это поняли...

Разговор уже продолжался мирно, как всегда. Более этой темы "ненужной сложности" его ранней поэзии мы не касались.

В 70-х годах, живя все более уединенно в разных русских деревнях, среди русской природы, я пришел к убеждению, что неимоверная простота для меня - непостижимо "простое" совершенство Творения (самое таинственное из всего существующего), обязательно и антиномично сопряженное с мучительной проблемой соответствия его со

"словесною простотой" - в некотором ином моем понимании... сейчас я на этом не остановлюсь (скажу лишь, что у меня, очевидно, "нелады с вещественным миром"), - здесь я немного расхожусь с Пастернаком, восхищаясь при этом его невероятной дерзостью, мужеством и ответственностью перед насущным для людей Словом, *возрожденно-религиозным* - словно со свежей печатью прямой Благодати.

Все же "ересь простоты" у Пастернака в последние годы - в отношении средств выразительности - стала приобретать и некоторый характер чего-то излишне покаянного (как будто он чего-то "недоделал").

Так, в одну из последних встреч, он спросил мое мнение о поэте Б., чья "простота" доходила до фольклорной стилизации.

- Да, я уже знаю о вашем особом отношении к нему. И поэтому я его почитал. Странная смесь некоторых артистических моментов с графоманией, - сказал я.

- Да, много воды, - как-то удрученно ответил Б. Л.

V

Я уже упомянул, что вторую тему, пронизывающую беседы Б. Л. со мной, вообще все наши общения (охватывавшую широко, "пульсирующе", светозарно), можно было бы назвать темой "здешности", обыденности чуда.

Чуда Творца и Творения, хотя "специально" религиозных разговоров между нами не было (моя религиозность тогда была весьма абстрактной, в гегельянском духе, я смутно и неуверенно продвигался в сторону Паскаля. От решительной заинтересованности русской богословской философией меня сдерживало прежде всего мое настороженное отношение к "софийству" Владимира Соловьева).

На упомянутую тему Б. Л. заговорил при второй же нашей встрече.

- Чудо - ведь это просто. Это рядом, везде, постоянно. Когда перед вами

текст, вы общаетесь не с буквами, а с духом самого автора, вы общаетесь с ним самим. Чудо - вот вы сидите передо мной, это тоже - чудо.

Пожалуй, мне пора здесь оговориться, что передать уникальные особенности пастернаковской речи я, для себя, считаю просто невозможным.

По существу, это была даже не речь, а *буря вдохновения*, горячее рождение мысли, ассоциаций, взрывов *прямого чувства* (почти "междометийных"), чуть ли не бьющих в душу - как из тела в тело. Записывая его высказывания в виде прямой речи, я даю лишь упрощенную схему говоренного.

Только один раз я попытался "зафиксировать" (и то - спустя несколько лет) бурю пастернаковской речи.

26 мая 1965 года в городе Жуковском под Москвой состоялся странный вечер, посвященный Девятому Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Алжире. Первые два пункта этого мероприятия были посвящены проблемам Алжира и ЮАР, далее в пригласи-

тельном билете следовало:

III.

Б.Л. Пастернак. Стихи.

О Б.Пастернаке рассказывают: Н.В.Банников - редактор "Литературной России", Геннадий Айги - поэт.

"Пастернаковская" часть вечера, в сущности, провалилась. Организаторы вечера были нервированы присутствием в зале группы "искусствоведов в штатском". Н.Банников, днем еще бывший в редакции, "заболел" и не приехал. Чувствовалось, что собравшиеся плохо знают Пастернака-поэта, и я выступил столь сумбурно, что впору было провалиться сквозь доски сцены.

Перед вечером я набросал несколько страниц моего выступления, приведу здесь сохранившийся отрывок:

"Чтобы обрисовать хотя бы немного личность Бориса Пастернака, я решил рассказать вам об одной встрече с поэтом. Прежде всего потому, что все тогда происшедшее не требует рассуждений, а только простого пересказа: оно само похоже на произведение, организо-

ванное до совершенства.

Летним утром 1958 года я шел из Переделкина, спешил в Литературный институт, где тогда учился. Моим спутником оказался студент, которого я часто видел среди литинститутских молодчиков-националистов. На развилке, чуть дальше переделкинского кладбища, я хотел свернуть направо. И увидел Бориса Леонидовича: он, в белом плаще, шел прямо на нас. Не буду стараться его описывать: вряд ли я тогда что-либо заметил, кроме того, что передо мной был - *он*, неопределимый, как явление природы.

Начался бурный монолог Бориса Леонидовича:

- Как жаль - я вижу, что вы торопитесь - какое утро! - у вас нет времени - как много хотелось бы сказать! - ведь вы меня поймете! - вы должны это понять! - у вас мало времени! - но вы поймете: самое главное - самое важное - вот это утро - деревья - вы - это небо - все сразу: этот мир - все вместе - природа, - небо - эти сосны! - все это -

сразу и вместе понятое - пусть будет тем, что я хочу вам сказать! - я хотел бы, чтобы вы это поняли, приняли, - сразу, все вместе! - чтобы все это было с вами! - ведь вы меня поняли, да? - вы должны это понять!"

Добавлю, что я не успел заметить, как Б. Л. скрылся за соснами. Мой ошеломленный спутник стоял с широко раскрытыми глазами:

- И это и есть Пастернак?

В конце того же года мы с женой вышли прогуляться - почти за полночь. На переделкинском перекрестке мы столкнулись лицом к лицу с Борисом Леонидовичем.

Это, кстати, произошло среди очень *пастернаковской* вьюги. В эту стихию включился поистине "вьюжный монолог" Пастернака:

- Как я рад! Вот, наконец, вы здесь! А ведь вообще думают, что смысл существующего, самое существенное, главное где-то *там,* "в других мирах"! Нет, все - *здесь,* сейчас, вот - в это самое время! - вечное, непреходяще-сущност-

ное - *здесь*! И прекрасны мы - *здесь*, и тайна, и чудо, и наша нескончаемость, все - *здесь*! Ведь вы понимаете, да?

Этот *вьюжный монолог*, столь приблизительно переданный мною, долго держался во мне как некий весомо живущий мир, стал неким - во мне - *содержанием*. Позже я написал программное для меня стихотворение "Здесь", которым обязан Пастернаку.

- Я знаю, что ваш муж выздоровел несколько недель назад. Я ждал его появления у меня. Ждал - как благословенной встречи, как всегда! И вообще - почему он стал реже ко мне ходить? - обратился Б. Л. к моей жене.

- А потому, Борис Леонидович, - ответила она, - что он недолюбливает двух студентов, которые постоянно к вам ходят. Он считает их в чем-то расчетливыми.

Я не удержался, мне было неловко:

- Ну, нельзя же так...

- Нет, она права, я понимаю, понимаю! - горячо отозвался Б. Л. и, обратившись к моей жене, сказал уже спокой-

но и мягко:

- Вы правы. Но, знаете, дружбу по градуснику не делают.

VI

Много наговорено и написано об "эгоизме" и "эгоцентризме" Пастернака.

Однажды об этом он заговорил со мной сам. Так, будто *жаловался.*

- Все обвиняют меня в эгоизме. Близким моим со мной трудно, я все понимаю. Но, скажите, разве это эгоизм, когда все - все природное, все страдающе-человеческое, всю неслыханную красоту мира - вбираешь, бесконечно впитываешь в себя, чтобы все это - широко, щедро, безоглядно - отдать, раздать - не зная, кому, - без адреса - всем, всем!

Мое поколение выросло без отцов. Оставшиеся лже-отцы от литературы воевали с такими, как я, как с равносильными врагами. Поистине *отеческое* отношение ко мне я встретил в моей

юности только у двух чувашских поэтов (один из них - упомянутый выше Васьлей Митта) и еще - у Бориса Пастернака.

Я был неудачно влюблен, неудачно женат (в чем виню только себя - за нелепую безоглядность, за сумбурность моей жизни).

Перед моей скоропалительной свадьбой (я был на последнем курсе Литинститута и все еще жил в Переделкине) пришла к нам Ирина Емельянова и передала мне от Б. Л., что он просил бы меня вместе с будущей женой посетить его: "Я хотел бы благословить его, как отец, ведь он вырос без отца".

Что-то говорило мне о шаткости происходящего, и я *не посмел* пойти к Б. Л.

Он чувствовал, что что-то не ладится в моей "личной" жизни (тогда же возникли и признаки будущей расправы со мной в Литературном институте).

И однажды сказал:

- Когда вам плохо, старайтесь заниматься чем-то *хозяйственным*. Конечно,

писать в таком состоянии бывает невозможно. Пожалуй, трудно даже *переводить.* Переписывайте что-нибудь старое, перепечатывайте, занимайтесь мелкими техническими поправками. Как в таких случаях инстинктивно мудро поступают женщины: стирают, гладят, шьют.

(Должен сказать, что уже через десятки лет в предельно тяжелых ситуациях я сознательно старался заниматься хозяйственными заботами, памятуя о совете Б. Л.).

В марте 1958 года меня исключили из Литературного института и из "рядов комсомола" с формулировкой: "За написание враждебной книги стихов, подрывающей основы метода социалистического реализма".

Это известие Б. Л. принял как удар и по себе. Мы встретились с ним сразу же после случившегося - с внутренней взаимностью не стали обсуждать это событие. Я только сказал:

- Это - правильное развитие судьбы, я ведь давно уже в этом русле и потому

как-то спокоен.

Б. Л. молча кивнул.

Однако через какое-то время пролетел по Переделкину слух о самоубийстве одного из студентов Литинститута. Б. Л. пошел в сторону общежитий, у первой же попавшейся навстречу ему студенческой группы спросил насчет меня. (Я был несколько удивлен, о потом понял особое беспокойство Б. Л. - он видел, как я тяжело переживал мой разрыв с женой, а это произошло сразу же после литинститутских событий).

Кстати, самоубийством покончил тот студент, который при вышеописанной встрече с Б. Л. на кладбищенской развилке с изумлением спросил: "Это и есть Пастернак?" Он оставил записку, в которой говорилось, что нет другого выхода из мучительного для него "окружения"...

Должен заметить, что "сбрасывание" отцов "с парохода современности" мне кажется естественным литературным, вообще-то в достаточной мере "игровым" законом.

Оказывается, "сбрасывать" мое божество - Б. Л. - я начал еще при его жизни. Например, в одной очень культурной еврейской семье я вдруг сказал, что теорию "еврейской ассимиляции" в "Докторе Живаго" я не принимаю: "Ему-то легко говорить об этом". Хозяйка дома назвала меня "предателем". Спустя несколько лет в той же семье меня уже крыли за умеренное отношение к той же "теории" Пастернака (вскоре эта дружественная мне семья эмигрировала из СССР).

Что-то "антипастернаковское" (касающееся чего-то из его поэтики) я стал говорить, как обнаружилось, и в разговоре с моим другом Римом Ахмедовым. Выслушав меня, Рим взорвался:

- А знаешь ли ты, что он лишь неделю назад *приходил сюда* ночью, чтобы справиться о твоем здоровье? А подумал ли ты о том, *на какие шиши* мы могли покупать не только лекарства, но и кормить тебя апельсинами?

Привожу выдержки из воспоминаний Р.Ахмедова:

"Однажды мой Айги не на шутку заболел. Всю ночь метался в жару, бредил. Изрядно напуганный, я утром на занятия не поехал. Побежал в переделкинский медпункт, привел врача. Врач установил: двустороннее воспаление легких. Выписал рецепты, сказал, что сестра будет приходить делать уколы. Велел ставить горчичники, порекомендовал усиленное питание: фрукты, молоко, бульоны. А в кармане - всего несколько рублевок. На столе - самый дешевый батон пшеничного хлеба, пара луковиц - сегодняшние обед и ужин. Мне-то пойдет, а его, больного, чем кормить? На что купить лекарства? Опять у кого-то надо занимать до стипендии. Уныло я поплелся на станцию к электричке, когда сзади кто-то окликнул. Поднял голову, смотрю - Пастернак. По моему лицу он, видимо, понял, что случилось неладное. Спросил, почему не на занятиях. Я сказал, что Гена заболел. Борис Леонидович разволновался, начал выспрашивать, что да как. Я впервые увидел его в таком волнении. За

разговорами он машинально прошел со мной несколько шагов, потом вдруг остановился, взял меня за плечо, в некотором смятении пробормотал: "Видите ли, я сейчас, к сожалению, не при деньгах. Но идемте ко мне, что-нибудь да найдется".

Я послушно пошел за ним на дачу. Поднялся в столь знакомый кабинет. Борис Леонидович достал из ящика стола несколько двадцатипятирублевых бумажек, помедлив, добавил еще и протянул мне со словами: "Сначала бегите в аптеку, потом купите что-нибудь из съестного, повкуснее". Я с горячей признательностью поблагодарил, тупо твердя, что в стипендию сразу же возвращу долг. Он нахмурился, сказал ворчливо: "Вот получите Сталинскую премию, тогда вернете".

На улице пересчитал деньги: двести пятьдесят рублей. Половина моей именной стипендии. Вполне можно рассчитаться в один прием, тем более, что я немножко прирабатывал на одном заводе, ведя занятия в литературном объеди-

нении. В тот же вечер я пичкал друга лекарствами, ставил горчичники, кормил купленными в убогом пристанционном буфете бутербродами с семгой, отпаивал чаем. Он повеселел.

Следующий день принес сюрприз, которого я никак не ожидал. Раздался негромкий стук в дверь, и вошел Борис Леонидович. Сам пришел навестить больного. Я только что снял с Айги горчичники, и он, измученный, уснул. Гость быстрым взглядом окинул нашу маленькую узкую комнатку, едва вмещавшую две кровати с небольшим письменным столом между ними. На столе дешевенький проигрыватель в пластмассовом корпусе. На стенах, в изголовье, рисованные углем на ватмане портреты Волошина, Ницше, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, копии с гравюр Мазереля, с рисунков Ван-Гога "Скорбь" и "На пороге вечности". Все это было выполнено моей неумелой рукой. Легкая улыбка скользнула к уголкам губ Бориса Леонидовича.

Он сел на стул рядом со спящим больным, приложил ладонь к его горячему лбу. Спросил, какие даю лекарства. Я пожаловался, что Гена капризничает, больше часа не может пролежать в горчичниках, мол, дети терпят, а он не хочет терпеть. Борис Леонидович ужаснулся, объяснил, что держать их нужно не дольше пятнадцати минут. Приоткрыл одеяло, посмотрел на красную обожженную грудь, покачал головой. Дал еще кое-какие советы. Уходя, оставил на столе два лимона, яблоки, банку сгущенного какао и еще пятьдесят рублей. Несколько позже, когда я предпринял попытку вернуть долг, он отчитал меня с такой обидой и укоризной, что я, краснея и комкая деньги в кармане лыжных штанов, не знал, куда деться со стыда".

Моя радость от дружбы, от общений с Б. Л. была чистой. Ничего иного я от него никогда не хотел (например, не просил автографов, перепечаток его новых стихов - такое мне и в голову не приходило).

Летом 1958 года, оказавшись без московской прописки, без каких-либо средств к существованию, я уезжал в Иркутск к семье профессора М.М.Лаврова (внука издателя славянофильской "Русской мысли" В.М.Лаврова), уезжал - в неизвестность, на неведомый срок. Перед этим попрощался с Борисом Леонидовичем. Он настойчиво просил меня, чтобы я ему писал, "я непременно буду вам отвечать". Я сочинял в голове огромные письма к Б. Л., но чувствовал, что они могут оказаться ужасно литературными и неестественными, и не писал ему (в этих "устных письмах" я безнадежно задыхался от кружившегося роя мыслей и чувств)...

После смерти Б. Л., в течение тяжелейшей (и все же - уже "выносимой") четверти века, я часто задумывался: как смог выдержать Пастернак страшные полвека советской жизни?

Думал о его жизневыдерживании - как о некоей загадке. Объяснение того, как он все *выдержал и победил,* кажется мне, в следующем.

Борис Леонидович, на мой взгляд, обладал *гениальной способностью очаровываться* - быть очарованным чем угодно и в любую минуту: падающим листом, встретившимся во время прогулки ребенком (его до сих пор вспоминают "простые люди" в Переделкине: "Из писателей только Пастернак с нами здоровался"), хмурым дождем, любым собеседником, как он сам говорил: "всем-всем" - жизнью, Вселенной, собственным поэтическим Миротворением.

VII

При первой же нашей встрече разговор зашел о моей поэзии. Вернее, о небольшой чувашской поэме "Завязь" в подстрочном переводе (всего 6 машинописных страниц), которую я упорно "выковывал" в течение 1954-1956 годов.

О ней Б. Л. отозвался одной фразой:

- Половина мне очень понравилась, половина - очень не понравилась.

Я даже не задал вопроса. Мне было

ясно, какая "половина" не понравилась Б. Л. - все то, где были остаточные следы "маяковизма" - в "анатомизации" и "физиологизации" образов.

Осенью того же года и в начале 57-го я прочел ему полдюжины стихотворений и небольшую поэму, посвященную чешскому поэту Иржи Волькеру ("Это действительно такой значительный поэт?" - спросил о нем Б. Л.).

Особенно вспоминаю мое первое чтение. Б. Л. весь ушел в слушание (словно, все более темнея лицом, тонул в некую стихию - такого слушателя чьих бы то ни было стихов я более никогда не встречал). Одно место из поэмы о Волькере он попросил повторить ("...и маленькие красные фонари горят так тихо и сосредоточенно, как будто сидят в них маленькие пимены и тихо и сосредоточенно пишут, что сказание все продолжается").

Отметил, что научные термины, которые я вводил в стихи, "удачно подчеркивают внутренние контуры одного-единого образа, а стихотворение у вас

- как один цельный образ, этими терминами надо пользоваться, но реже, чем вы это делаете".

Как бы подытоживая общее впечатление, Б. Л. сказал:

- Вообще, вы сразу же обнаруживаете "зону", где находится *ядро* образа, и начинаете усиливать его расширенное действие. Но вы еще не пришли к тому, чтобы выбрасывать хорошее ради лучшего.

Впоследствии я писал, что "одна эта фраза была для меня длительной поэтической школой".

Читал я Б. Л. и мой перевод его "Зимней ночи" на чувашский.

- А башмаки у вас падают раньше, чем у меня, - заметил он, выпустив меня из объятия.

Действительно, строфу с "башмачками" я переставил в моем переводе.

Когда я для примера прочел начало одного из моих чувашских верлибров, Б. Л. спросил:

- Это так и звучит?

- Да, - ответил я, подумав с удивле-

нием, что я действительно придал чувашским звонким согласным бо́льшую резкость, близкую к русскому звучанию.

Мне неоднократно казалось, что он воздерживается от одного вопроса. Дело в том, что мои подстрочные изложения чувашских текстов стали приобретать характер полупереводов. И однажды я, как бы оправдываясь в чем-то, стал говорить Б. Л., что, на мой взгляд, "главное в поэзии - это уловить красоту, и неважно, на каком языке это будет сделано".

- Я с вами согласен, - ответил задумчиво Б. Л. - Но у меня такое чувство, что вы уже входите в плоть русского языка, притом довольно смело. К тому же, похоже, что только *русскоязычие* может позволить вам оперировать всем тем, что, как нечто поэтически зарождающееся, происходит с вами в нашем общении. Скорее всего, вы колеблетесь в выборе. Если бы вы спросили, считаю ли я возможным ваш переход на русский, я сказал бы: да, считаю. Да вы

уже и находитесь в русскоязычии.

Хикмет, говоривший со мной на эту же тему, был прям:

- Вам нужен большой инструмент. Нужен - оркестр. Значит, вам необходимо перейти на русский, это будет соответствовать тому, что вы в себе несете. Только запомните: *вам никогда не простят вашего происхождения*, того, что, будучи выходцем из малого народа, вы будете существовать в большой литературе. Говорю это по своему опыту, наши с вами опыты *родственны,* мне тоже пришлось поплатиться кое-чем, входя в европейский контекст.

На русский язык я мучительно переходил в 1960 году, в месяцы, когда Борис Леонидович был уже смертельно болен.

Одно из моих первых русскоязычных стихотворений называлось "Отмеченная зима". В этом названии - скрытая "цитата" из Пастернака, я знал, что он среди близких отзывался обо мне словами: "Он - отмеченный".

Мой большой русский однотомник, вышедший в Париже в 1982 году, тоже

носит упомянутое название (в этом было сохранение мною некоего "завещания" Б. Л. - тайное, лишь для себя).

Как такое же завещание, я вспоминал всегда и его следующие слова:

- Мне близка ваша слиянность с природой. Но я хотел бы сказать, что придет время, когда вы должны будете сознательно стараться сохранять эту *данность* как некий ваш долг по отношению к собственной работе.

В последнюю нашу встречу, в начале 1959 года, Б. Л. сказал:

- Россия - счастливое место для художника. Здесь еще не порвана связь человека с природой.

VIII

Осенью 1959 года я выехал в Чувашию, домой, к умирающей матери.

В деревне я жил "под официальным наблюдением, как враждебный элемент", как было заявлено на сессии местного райисполкома.

Из Москвы часто шли письма - от Ирины Емельяновой. И вдруг они прекратились. И однажды ночью - тайно - посетили меня два молодых человека из соседней деревни (оба - исключенные из какого-то сибирского института по "идеологическим причинам"): "Мы много о вас слышали. Говорят о вашей связи с Борисом Пастернаком. И мы решили сообщить вам, что зарубежные "голоса" передают сейчас, что он тяжело болен".

Спустя некоторое время мне передали телеграмму. Словно двинувшиеся с бумаги, ударили слова: *"Классик скончался"*.

Моя мать, малограмотная крестьянка, обладала драматически развитым умом и была для меня настоящим *духовным другом*. Я ей рассказывал о Пастернаке, она понимала его значение в моей жизни.

- Ты обязательно должен быть на его похоронах, - сказала она. - Поезжай, я не умру до твоего возвращения.

Наступала ночь. Я кинулся бежать

по полю в дальний районный центр, чтобы оттуда добираться до железнодорожной станции.

Светила луна. И тут я решил еще раз прочесть телеграмму - там стояло: *"Похороны во вторник"*.

Бориса Пастернака похоронили три дня назад...

Моя мать умерла ровно через две недели после кончины Бориса Леонидовича.

Так - от страшного двойного удара - кончилась моя юность.

7-13 июня 1990 г.

ДЕВЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1957 - 1965

ХУДОЖНИК

Б. Л.Пастернаку

1

создано ли? - это просто дано
как сталактитовые блики в пещерах
кому-то несведущему:

своей взаимосвязью
в себе существует -

вдруг - иногда - открываясь
Зренью - которое - я

2

и для кого-то
где-то опять
капли на крыле самолета -

так же волнующи
и каждый день неожиданны -

как для меня - тот же холод ведра
оцинкованного
около того же порога
при возвращении в деревню домой

3

- я - ежедневно об этом
это должно быть законом:

как для собаки первобытный обычай
два-три раза кружиться вокруг ее ложа
перед тем как лечь

4

- и не выбираю
между сном и диспутом -

и потому человек
что хочу возвращаясь домой вдруг
услышать
говорение далекого моря - здесь
"невозможного" -

5

но для меня в этот вечер
будто входящего в город как Бог -

при движении что-то нашептывающих
издали - слов

1957-1958

ПРЕДЧУВСТВИЕ РЕКВИЕМА

а вам отдохнуть не придется
и в ясном присутствии гроба его

вам предоставлена будет прохлада
как на открытой поляне
чернеющей и угасающей
как в окружении
деревьев черненых бесшумной корой

и явственней станет чем ваше "мы есть"
образа ясного свет
от которого будут болеть
ваши глаза с проявлением дна
с узкой - надглазной - костью
похожей на тусклый намордник

и станет известно что даже в то время
когда был горяч он насквозь
когда как ребенок был мягок и влажен
когда он хотел на прощанье сказать
три слова последние веры -

и приник ради этого
лицом небывало-доверчивым
к чему-то человеческому -

это и тогда оказалось
вашими руками

и запомним лицо остывающее
и все больше принимающее вид
маски вылепленной будто
руками убийц

1957

ЗДЕСЬ

словно чащи в лесу облюбована нами
суть тайников
берегущих людей

и жизнь уходила в себя как дорога в леса
и стало казаться ее иероглифом
мне слово "здесь"

и оно означает и землю и небо
и то что в тени
и то что мы видим воочью
и то чем делиться в стихах не могу

и разгадка бессмертия
не выше разгадки
куста освещенного зимней ночью -

белых веток над снегом
черных теней на снегу

здесь все отвечает друг другу
языком первозданно-высоким
как отвечает - всегда высоко-необязанно -
жизни сверх-числовая свободная часть
смежной неуничтожаемой части

здесь
на концах ветром сломанных веток
притихшего сада
не ищем мы сгустков уродливых сока
на скорбные фигуры похожих -

обнимающих распятого
в вечер несчастья

и не знаем мы слова и знака
которые были бы выше другого
здесь мы живем и прекрасны мы здесь

и здесь умолкая смущаем мы явь
но если прощание с нею сурово
то и в этом участвует жизнь -

как от себя же самой
нам неслышная весть

и от нас отодвинувшись
словно в воде отраженье куста
останется рядом она чтоб занять после нас
нам отслужившие
наши места -

чтобы пространства людей заменялись
только пространствами жизни
во все времена

1958

К ПРЕДЧУВСТВИЮ РЕКВИЕМА

а как это было?
впервые
вас били в то время -

но - только себя отдирая от вас
а - не нападая

я бился тогда чтоб себя отыскать
в бесформенной тьме
безъязыко-мертвящей
называемой временем -

чтоб было пространство
для жизни без вас

прошло это время! и стал я свободным
от подаренного мне одиночества -
одиночества - в окружении!

и получил завоеванное одиночество -
самого себя

и место мое оказалось
пустыней где нет никого -

пока утешая могло оно так называться

пока вы не действовали еще кончательно!
и заняты были не смертью самой:

еще не ее матерьялом самим!

а только строительством
сферы для смерти

ее подготовкой

1958

ЛИШЬ ГОД НАЗАД

Памяти чувашского поэта
Васьлея Митты

было - потери не знавшее лето
всюду любовью смягченное
близких людей полевых -

будто для рода всего обособленное! -

и жизнь измерялась
лишь той продолжительностью
времени - ставшего личным как кровь
и дыханье -

лишь тою ее продолжительностью -

которая требовалась чтобы на лицах
от слов простых
возникали прозрачные веки
и засветились -

от невидимого движения слез

1958

ОТМЕЧЕННАЯ ЗИМА

белым и светлым вторым
страна отдыхала

причиной была темнота за столом
и ради себя тишину создавая
дарила не ведая где и кому

и бог приближался к своему бытию
и уже разрешал нам касаться
загадок своих

и изредка шутя
возвращал нам жизнь
чуть-чуть холодную

и понятную заново

1960

УТРО В ПЕРЕДЕЛКИНЕ

все словно высчитывало
в этом доме себя самого:
пальцы чьи? и мелькало: чей свет?
чья синица? чей щеголь?
пологи надвое дарили себя
имея при людях
где-то свое раскаленное дно

и наклоняли тут двери
на независимой от близкого леса
площадке дверей

а часть платья на теле -
словно холод осенний на картах
игральных!
это - льду! подоконники - льду!
пальцы детские - льду!
все в оттисках свистов
светло и оконно
будто без девочки этого дома
зацокало "це"
в брошенном всеми дому!

но войду - и лесным тарахтеньем
поверхности
станут полны потолки

и засветишься
вся словно колючки испарины
непрерываема
и узоры волненья как тени полыни
составят тебя наподобие
светлого хозяйства из перебоев дыханья

и утро подробно
подробен и сад
и все при тебе
в этом доме подробны с утра

как будто возникшие каждый в отдельности
только сейчас

1961

ПРЕДЗИМНИЙ РЕКВИЕМ

Памяти Б.Л.Пастернака

провожу и останусь как хор молчаливый
я в божьем пространстве весь день
предуказанный
с движеньями зимнего четкого дня
словно с сажею рядом

а время творится само по себе
кружится пущенный по миру снег
у монастырских ворот
и кажется ныне поддержкой извне
необходимость прохожих

а уровень века уже утвержден
и требует уровень славы
лицо к тишине обращать
и не книга но атлас страстей
в тиши на столе сохранен

а год словно сажа коснется домов
в веке старом где будто разорваны книги
и любая страница потребует
линий резки и складки к себе
через мои рукава

где холод где рядом окно а за ним
сугробы ворота дома

1962

К ПРЕДЗИМНЕМУ РЕКВИЕМУ

О.В.Ивинской

в те дни возможно только в Ваших веках
хранился сон его земной:

он издали менял их цвет
в садах тоской закаты создавая

и как невиданного зверя
и нежнейшего
заиндевелые ресницы были
потом при взгляде на поля

то - горя Вашего уже сады иные...

и на далекое надгробие
цветы не именованные
новые

упоминанием кладу в стихах

1965

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ АЙГИ
"Все - здесь..."
Встречи с Борисом Пастернаком
1956-1958
Девять стихотворений
1957 - 1965

Редактор и автор предисловия Сергей Сухопаров

Технический редактор Сергей Дудченко

Фото на обложке Николая Лаврентьева: дача Б.Пастернака в Переделкино

Фото автора работы Сергея Сухопарова

Силуэт Б.Пастернака работы Елены Кругликовой

Тираж 100 экз.

Книга выпущена 5 февраля 1997 г.
в издательстве "Пилотные школы"
(Херсон)

35F